

Современная политическая карта:

краткий курс с Кириллом Мартыновым •

Какие силы действуют на политических полях Америки, Европы и России, и есть ли смысл именовать себя сегодня леволиберальным национал-консерватором?



«Культиватор»: Кирилл, сегодня часто можно встретить утверждение, что время больших идей, в том числе политических, уже в прошлом.

К.М.: На мой взгляд, это не так. Три самых влиятельных в современном мире политических идеологии — либеральная, социалистическая и консервативная — сложились к концу XVIII — началу XIX века. Они существуют на политической сцене и никуда не исчезли.

К.: Где они возникли и как можно вкратце описать их суть?

К.М.: Они сложились в Европе, во Франции в первую очередь, в Англии, а также в США, хотя надо сказать, что сильных социалистов в последней стране никогда не было.

Изначально эти идеологии раскладываются довольно просто. Грубо говоря, либеральная идеология и социалистическая — это две ветви, исходящие от идей Французской революции. Обе они предполагают, что человек в состоянии сам определять свою судьбу и что социальная реальность подлежит такому сознательному проектированию. Ведь до конца XVIII века люди не считали, что мир, в котором они живут, социальный мир, создается ими самими. Они были уверены, что этот мир существовал всегда, и то, что идет от века, есть некий естественный — точнее божественный — порядок, не подлежащий никаким изменениям. А потом люди придумали, что общество — это то, что может и должно реформироваться. Собственно, это и было рождением современного политического поля. Стало понятно, что задачи политической борьбы состоят не в том, чтобы прогнать плохого царя и назначить хорошего царя, — что было главной целью русских крестьянских бунтов, к примеру, — а в том, чтобы существующие социально-политические институты заменить другими, потому что мы считаем, что эти вторые институты лучше отвечают нашим человеческим потребностям.

И социализм, и либерализм верят в то, что человек в состоянии выстраивать свою жизнь самостоятельно и создавать те политические институты, которые для этой жизни больше подходят. Соответственно, они разделяют лозунг «Свобода, равенство и братство!», который является своего рода брендом Французской

революции. Но между социализмом и либерализмом с самого начала было существенное противоречие на политэкономическом уровне. Оно состояло в том, что социализм считает условием свободы, а особенно равенства и братства, полную отмену либо серьезное ограничение частной собственности, которая в социалистической традиции рассматривается как способ закрепощения человеческого труда, отчуждения и прочих традиционных марксистских представлений, впрочем не обязательно даже марксистских. Тут можно вспомнить Прудона, который марксистом не был, но у которого есть тезис «собственность — это кража».

Либералы, наоборот, считают, что если у человека нет возможности владеть собственностью, то ни о какой свободе речи не может идти. В основе либеральной политики всегда лежит представление о том, что у индивида есть такие права, на которые никто не может покушаться — ни государство, ни демократическое большинство. И к таким неотчуждаемым правам относится право собственности.

Но на самом деле противоречие между социалистами и либералами глубже, чем вопрос о собственности, потому что сам по себе он следствие различной интерпретации человеческой природы. Для социалистов человек — это открытый проект, сущность которого, по Марксу, проявляется в свободном труде, т.е. в реализации творческого потенциала. И соответственно, цель борьбы заключается в том, что труд должен быть освобожден. Существует даже интерпретация этой идеи и вообще всей марксовской теории освобождения пролетария и перехода к коммунизму как создания своеобразного «общества поэтов». Романтический поэт претендует на то, что он, возвышаясь над толпой, творит свою реальность самостоятельно, — и точно так же пролетарий Маркса, освобождаясь от оков, разрывая цепи, затем переходит к творению своей жизни как большой поэмы.

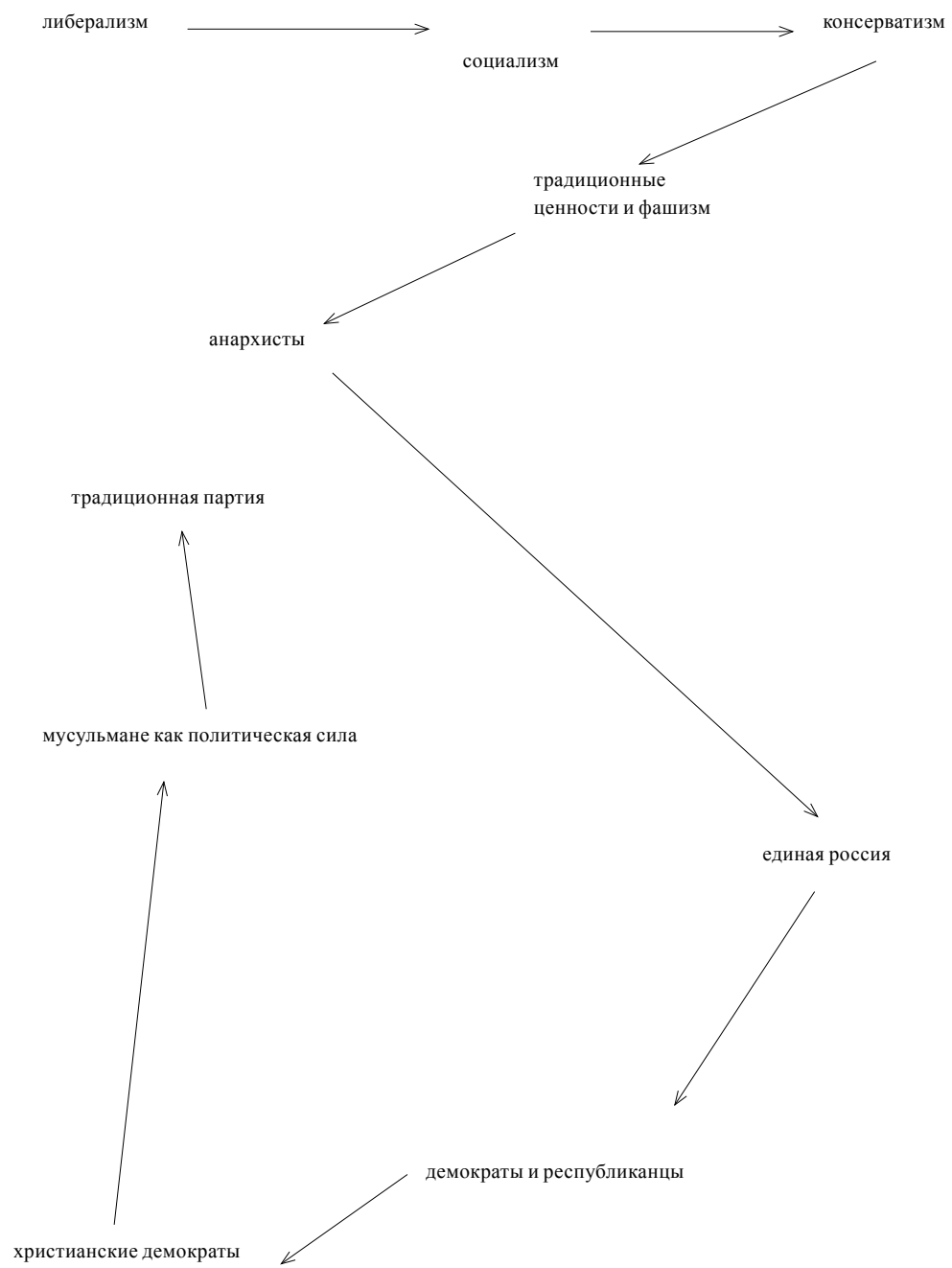
При этом социалисты считают, человека можно воспитывать, что он может стать лучше. По этому поводу Николай Бухарин в 1926 году говорил: если бы мы, большевики, не верили в то, что человек может меняться к лучшему, мы бы никакой революции не затеяли. То есть если бы коммунисты не верили в то, что советский человек

по своим возможностям — это человек коммунистического будущего, то они никогда бы не подняли вооруженное восстание.

К.: Большевики верили в то, что такое преобразование человека возможно с помощью инструментов государства. А другие социалисты тоже так считают? Или они думают, что это должно быть неким самообразованием?

К.М.: Есть много разных социалистов. Есть социалисты, которые склоняются к ленинской, а то и к сталинской модели, т.е. предполагают, что в основе этого преобразования человека должен стоять авангард партии, которая одновременно становится государством диктатуры пролетариата. Есть очень влиятельная концепция итальянского марксиста Антонио Грамши, которая не предполагает участия государства в таком преобразовании. В соответствии с его идеями, сначала идет культурная борьба, устанавливается культурная гегемония, и уже внутри этой культурной гегемонии и зарождается человек, способный сделать следующий шаг.

Вообще-то мы сейчас все грамшианцы. Грамши писал свои тексты в 20-е годы, сидя в тюрьме при режиме Муссолини. Он наблюдал, как большевистская революция победила в России и проиграла в Западной Европе — в Германии, Венгрии. Он сделал из этого вывод, что разным обществам нужны и разные формы борьбы. В большой аграрной стране, такой как Россия, действительно может возникнуть подобная авантюра — «партия авангарда», т.е. ленинизм, большевизм, — и там вооруженное восстание может увенчаться успехом. А в индустриальном обществе, как считал Грамши, нужно использовать другую тактику. Здесь необходимо начать борьбу за культурную гегемонию: мы занимаем ключевые посты в университетах, издательствах, средствах массовой информации и потом целенаправленно транслируем определенные политические ценности и смыслы через все эти опорные точки. При этом мы действуем просто как группа единомышленников, независимо от какой-либо внешней силы, принуждающей нас к этому (имеется в виду политическая партия).



Кирилл Мартынов

К.: То есть он был пиарщик такой...

К.М.: Наверное, можно и так сказать. Правые, консерваторы, позднее присвоили себе эти грамшианские идеи. Сегодня американские радикальные республиканцы, консерваторы вовсю стараются транслировать свои ценности в качестве именно осозанного жеста культурной борьбы, отбиваются ими от своих оппонентов-демократов. Под эти задачи создаются специальные учебные заведения, выделяются гранты...

Но вернемся к спору социалистов и либералов. Итак, социалисты верили в то, что человек способен стать лучше. А вот либералы считали, что человек по своей природе достаточно эгоистичен. Этот человеческий эгоизм, собственно, и является двигателем социального прогресса, как объясняется у Адама Смита. Один из самых известных афоризмов Смита, наряду с его фразой про «невидимую руку рынка», — это тезис о том, что мы получаем свежий хлеб не потому, что булочник нас любит как братьев, а потому что он хочет денег заработать. Не благодаря альтруизму, а благодаря человеческому эгоизму мы имеем те экономические блага, которые у нас есть.

Грубо говоря, у социалистов антропология позитивная, а у либералов антропология скорее негативная, и все социальные институты должны выстраиваться под эту антропологию. Поэтому социализм в шведской модели в отношениях с населением склоняется скорее к какому-нибудь прянику. А либерализм разного рода считает, что нужно человека мотивировать на конкуренцию и прочие подобные вещи.

К.: Теперь поговорим о консервативной идеологии.

К.М.: Про консервативную идеологию говорить гораздо сложнее. Первым из консервативных мыслителей был, как считается, Эдмунд Бёрк, который отреагировал, собственно, на Французскую революцию и сказал, что так дела не делаются, что все эти идеи социальной инженерии, вмешательства человека в естественный порядок вещей, они на самом деле утопические и вредные.

Таких авторов было довольно много. В России, допустим, это Константин Леонтьев, а в Италии — Юлиус Эвола.

У консерваторов изначально есть сильный когнитивный аргумент: они утверждают, что традиция как некий коллективный исторический опыт всегда важнее, чем мышление одного человека, и жить надо так, как заповедовали предки. Они считают, что человек склонен ошибаться, поэтому лучше делать только такие шаги, которые естественным образом вытекают из той политической традиции, в которой вы живете. То есть они считают, что обществом не надо манипулировать, оно должно существовать так, как это сложилось исторически.

В современной России в роли консерваторов выступают неоклерикалы, которые говорят, что есть некая православная традиция, которая отличает нас от других народов и государств, и ее надо придерживаться в повседневной жизни не только в церкви, но и за ее пределами. Политика, которой придерживается патриарх Кирилл, это типично консервативная политика. Официальные представители Церкви четко говорят: мы не либералы, мы не хотим, чтобы нам навязывали какие-то новые ценности, у нас старых хватает.

Но проблема консервативного подхода заключается в том, что, как показали в XX веке самые разные научные исследования (социологические, этнографические, политологические и т.д.), традиции почти всегда изобретаются задним числом. То есть та традиция, та древность и те ценности, к которым апеллируют консерваторы, они, как правило, тут же придуманы на коленке.

К.: То есть сконструированы?

К.М.: Да, это как раз то, что в социальном знании называется «конструктивизмом», в том числе и применительно к национализму. (Бывает, конечно, и либеральный национализм, но в целом националисты выступали обычно в роли консерваторов, в Европе по крайней мере.) Среди исследователей, разрабатывавших конструктивистские теории наций, стоит назвать недавно умершего Эрика Хобсбаума (у него есть книга, которая так и называется — «Изобретение традиции», но она пока не переведена на русский язык), а также Эрнста Геллнера и Бенедикта Андерсона.

В общем, традиции изобретаются, и это очень четко видно. Например, у американских республиканцев, особенно радикально

настроенных, существует значимый для них образ — «Америка, которую мы потеряли» (почти как «Россия, которую мы потеряли»). Это страна до рузвельтовских реформ, в которой жили свободные сильные люди, способные сами позаботиться о себе и своей семье, не зависящие от федерального правительства, платящие, соответственно, мало налогов. Федеральное правительство постепенно подбирало под себя этих свободных людей, и, таким образом, ради того, чтобы заботиться о всяких бедных меньшинствах, мы потеряли, собственно говоря, эту главную опору Америки. Для республиканцев эта страна американской мечты является своего рода «золотым веком».

Поэтому главная претензия к консерваторам заключается, по сути, в том, что они являются таким же продуктом современности, как либералы и социалисты. Они тоже появились 200 лет назад. И они тоже вынуждены изобретать себе традиции. Только социалисты и либералы занимаются проектированием нужных им социальных схем в будущее, а консерваторы занимаются проектированием этих схем в прошлое. И здесь самый очевидный пример — это нацисты, конечно.

Сегодня существуют самые разные попытки интерпретации этого явления, но в принципе, если пытаться классифицировать все нацистские и фашистские режимы XX века, они все-таки будут консервативными, потому что все они выступали за так называемые «традиционные ценности»: мужественные мужчины, патриархальные семьи, война как рыцарская доблесть, общее важнее частного. И они всегда себе придумывали какую-то фантастическую историю, которая за ними стоит. Собственно, само название гитлеровского государства — «Третий рейх» — как раз и указывает на эту воображаемую традицию.

К.: Как эти три больших идеологических направления соотносятся с распространенными «пространственными» определениями «правые», «левые» и «центристы»?

К.М.: Если брать европейскую картинку, где весь этот спектр представлен полностью, то левые — это социалисты. Но есть и радикальное крыло этого социалистического движения,

к которому относятся, например, анархисты. Кто такие анархисты? Это люди, которые проектируют будущее через отрицание государства. Они считают, что хорошее будущее возможно только там, где нет государства.

К.: И частной собственности?

К.М.: Для левых анархистов — да. Но есть еще либертарианцы, которых можно описывать как правых анархистов. Для них отсутствие государства прекрасно сочетается с сильной частной собственностью.

Идем дальше по спектру.

Центристы — это либо умеренные социалисты, либо умеренные либералы. Но с либералами в этой схеме довольно сложно, потому что и в российской, и в европейской схеме они принадлежат скорее к правым, так как выступают в противовес социалистическим ценностям. То есть либералы выступают за то, чтобы частная собственность была под защитой, а государство не вмешивалось в нашу жизнь. В этом смысле в Европе они скорее правые.

Центральная часть европейского политического спектра — это умеренные социал-демократы и левые либералы, которые мало друг от друга отличаются. Правда, часто под центристами понимается, как в России, просто какая-то партия начальников, которые вообще никакой идеологии не имеют, поэтому и считают себя «центристами». Но это отдельная тема. Ведь «Единая Россия» — это на самом деле вообще не политическая партия. Потому что у нее нет никаких политических целей, кроме сохранения власти...

К.: Получается, они консерваторы?

К.М.: Да, они консерваторы, но при этом внутри них есть и свои либералы, и свои социалисты (например, депутат Андрей Исаев там отвечает за «социализм»).

К.: И вся эта система работает на удержание и сохранение существующего порядка.

К.М.: Ну да. И при этом они только недавно, пару лет назад, поняли, что они консерваторы. И попытались даже сформулировать

какую-то мысль по этому поводу. Но у них ничего толком не получилось, потому что в этой партии всякой твари по паре. Они центристы, потому что они — ни рыба ни мясо. Консерваторы ведь тоже могут вести активную политическую борьбу против чего-либо. А они никого ни к чему не ведут. То есть это антиполитика такая, по сути.

Радикальные правые — так и в европейской логике — это ультраконсерваторы.

К.: Фашисты?

К.М.: Да, это разные формы фашизма, какие-то радикальные формы национализма.

В США политическая карта выглядит немножко по-другому. Там никогда не было сильных фашистов, хотя есть люди достаточно маргинальные. Но там никогда не было и сильных социалистов. Убежденные социалисты там всегда считались фриками. Поэтому политическое поле США раскладывается очень просто: левые — это либералы, правые — это республиканцы. То есть демократическая партия — это левые, причем внутри партии тоже есть более радикально настроенные левые и менее радикально настроенные левые.

США очень просто картографировать, потому что исторически главная проблема американской политики — это вопрос о налогах. Так сложилось со времен американской революции. Это история о том, как американские колонисты, которые в то время еще чувствовали себя англичанами, требовали представительства в английском парламенте, чтобы иметь возможность защищать там свои интересы, а не быть просто дойными коровами, с которых снимают какие-то деньги — в рамках империи, наверное, не очень большие, но для них самих существенные. И если посмотреть на дебаты, которые сейчас идут между Обамой и Ромни, то это все тот же вопрос о налогах, т.е. буквально — кто и за что платит в стране. Это то, чего в России абсолютно нет, и это никогда даже не обсуждается, потому что у нас налогоплательщик — это «Газпром», а люди платят 13% подоходного налога с «белой» зарплаты, и куда идут эти деньги — совершенно не интересуются.

К.: У демократов и республиканцев еще и социальные программы как-то разнятся?

К.М.: Социальные программы — это и есть вопрос, за что вы платите. Если вы говорите, что в стране начинается реформа здравоохранения, то всегда возникает вопрос: а кто за это заплатит? То есть все это опять упирается в вопрос о налогах.

Поэтому разница между левыми и правыми в США очень четко прописывается на уровне налоговой политики. Правые — это те, кто хочет платить мало налогов и, соответственно, по возможности не помогать тем, у кого нет денег. А левые — это те, кто согласен платить, кто считает, что вообще-то богатые и отчасти средний класс должны платить больше налогов, и хочет за счет этого развивать всякие социальные программы — в образовании, здравоохранении — в общем, строить общество равных возможностей.

К.: Само слово «республика» сегодня уже не играет никакой роли?

К.М.: А в каком плане оно должно играть? Американские республиканцы, как и американские демократы, выступают и за республику, и за демократию. Республиканцы и демократы — это просто такие исторические бренды, метки, которые они носят. И там есть богатая ироническая культура по этому поводу. Чтобы это оценить, достаточно вспомнить фильмы Вуди Аллена.

К.: Насколько значимым является присутствие в политическом спектре каких-то христианских сил?

К.М.: Вообще, если говорить серьезно, вся западная политика вышла из религиозного мира. И это достаточно просто можно показать на примере и Европы, и Америки. А вот с Россией в этом смысле все обстоит сложнее. У нас об этих проблемах интересно пишет Олег Хархордин. И, может быть, действительно имеет смысл связывать нынешнюю российскую политическую ситуацию с тем историческим обстоятельством, что в XVII веке русское православие пережило собственный раскол, который, однако, в отличие от европейской Реформации не привел к политическим реформам,

а привел скорее к консервированию всей этой ситуации. И что поскольку в России не было религиозных войн, у нас не родился либерализм. Потому что возникновение европейского либерализма можно четко описывать как эффект религиозной войны: остановить религиозную вражду могли только пресловутые общечеловеческие ценности. Вот простая ситуация, когда на одной улице живут протестанты и католики. Это ситуация, в которой общее выживание требует, чтобы и у тех, и у других были еще какие-то ценности кроме религиозных. Собственно говоря, именно так и возникает идея прав человека. И основные ценности европейского либерализма возникают в связи с новой эпохой, наступившей после окончания религиозных войн. А у нас их не было.

К.: Но религиозный монополизм остался и не дал обществу возможности развиваться.

К.М.: У нас — да. Но через двести лет этот религиозный монополизм так всех достал, что большевики просто отменили всякую религию. Возможно, отсутствие эволюции в православии и объясняет то, что тогда фактически никто не заступался за церковь, т.е. были какие-то отдельные попытки сопротивляться большевистской политике, но они были очень незначительные. Не наступило никакого религиозного подъема, когда пришли воинствующие безбожники.

К.: И все же в конце 80-х годов прошлого века Церковь возродилась?

К.М.: Она возродилась, и отдельный вопрос, почему и как она возродилась. Но факт, что сейчас мы вновь опрокинуты в некое архаическое представление о роли религии в обществе, в архаические православные сообщества. И этим лишь подтверждается представление о том, что одним из эффектов истории западного христианства было рождение современных форм политики.

К.: То есть христианских демократов у нас не может быть?

К.М.: У нас — нет, и это отдельная интересная тема.

К.: Что сегодня представляют собой европейские христианские демократы?

К.М.: Это консервативно настроенные демократы. Они, будучи демократами, выступают за определенные традиционные ценности. Если раскладывать их на нашем спектре, то это такие правополитристы получают. Но есть еще и христианские социалисты. Все они выступают за некую умеренную политику благоденствия, исходя из продолжения тех ценностей, которые в Европе существовали исторически. То есть по нынешним временам они не могут резко выступать, например, против геев, но они считают ненужным активно поддерживать их права, давать им слово, они также выступают за поддержку традиционной семьи.

К.: То есть они тоже консерваторы?

К.М.: Да. Но они умеренные консерваторы, без экстремизма.

К.: А феминизм играет какую-то роль в западной политике?

К.М.: На Западе существуют довольно активное феминистское движение. И феминистки даже навязали значительной части левых свою политическую риторику. В США демократы очень сильно этому подвержены. Республиканцы, конечно, в меньшей степени.

К.: Но они не являются отдельной политической силой?

К.М.: В США есть множество феминистических политорганов, и они участвуют во всех выборах. Об этом важно сказать, потому что есть иллюзия, что в США всю политику узурпировала устойчивая олигархия, которая постоянно воспроизводит конкуренцию между двумя партиями-близнецами. На самом деле это не совсем так. Просто у всех остальных партий, которых очень много и которые участвуют в выборах, нет серьезной поддержки в обществе. И в этой ситуации демократы покрывают потребности феминизма на более высоком качественном уровне.

К.: То есть они делегируют свои голоса более влиятельным политическим партиям?

К.М.: В конечном итоге — да. Если ты проиграл, то ты говоришь: давайте теперь проголосуем за демократов, например, если они тебе больше нравятся. Но все эти небольшие партии участвуют в выборах до последнего.

К.: Что можно сказать об участии мусульман в политической жизни западных стран и России?

К.М.: Насколько я понимаю, у мусульман пока нигде нет потребности организовываться в политические партии западного типа. У них другая немножко логика. Ее в России недавно воспроизвел скандальным образом адвокат Хасавов, который сказал, что мусульманам в Москве нужны шариатские суды, а не то они зальют город кровью.

Мысль тут очень простая, и она заключается в том, что мусульмане не склонны доверять судам тех светских государств, в которых они живут. Они считают, что мусульманская община должна жить по своим правилам. Сейчас они не хотят лезть в политику. То есть у них скорее не экспансионистская политика, а изоляционистская. Их действительно становится все больше, но они хотят, чтобы их просто не трогали. Они готовы защищать свое право на отправление религиозных потребностей, на строительство мечетей, на ношение женщинами хиджаба, и т.д. Но пока их амбиции — и суды шариата тоже — распространяются только на своих. Они не хотят бороться за власть в демократическом формате. И в Америке, и в Европе, и в России они просто хотят жить так, как им удобно, и чтобы их при этом никто не трогал. Но, конечно, это входит в противоречие со структурами светского государства.

К.: Можно ли говорить о том, что сегодня и в Европе, и в Америке, да и в России в общем-то тоже правые и националисты занимают ведущие роли?

К.М.: Нет, это не так, конечно. В Европе социалисты, наоборот, побеждают на выборах. Во Франции, например, пришло к власти достаточно радикальное правительство Олланда, выступающее за социальные программы, за экономическую справедливость.

И уже была очень мощная волна критики налоговой реформы нового президента.

Но тут важно сказать, что в новейшей России никаких политических партий, по сути, и не было. Единственная партия, которую в России можно сейчас создать, это партия националистов.

К.: А как же коммунисты?

К.М.: Коммунисты партией в строгом смысле слова никогда не являлись, потому что в советскую эпоху они были очень быстро сращены с государством. Накануне революции самой популярной была партия эсеров, а после 18-го года уже никаких партий в России не было. Было советское государство — коммунистическая партия, т.е. такая квазипартийная система. Нынешняя КПРФ тоже настоящей партией никогда не была: она никогда не заявляла никакой идеологии и просто эксплуатировала ностальгическую любовь к прошлому, фрустрированное желание вернуться в советское прошлое. Но партия не может на этом строиться.

К.: Разве существование партии не определяется просто репрезентацией интересов каких-то общественных групп?

К.М.: Нет. Партия — традиционная массовая партия — это не только репрезентация общественных интересов, но еще и готовность формулировать какую-то программу действий и эту программу действий выполнять, бороться за нее. И вот как раз этого — чтобы интересы какой-то социальной группы трансформировались с помощью той или иной партии в практику реальной политической борьбы: парламентской, электоральной и какой угодно еще, — этого-то у нас и не было. Возможность такая у нас была в 90-е годы, но тогда никому это не было нужно.

Вот почему у нас в России до сих пор совсем какая-то ж... с политикой.